



Георгий Плеханов

БУКИ АЗЪ — БА*

Должны ли мы, революционеры, в своей практической деятельности, держаться каких-нибудь безусловных принципов?

Я всегда говорил и писал, что у нас должен быть только один безусловный принцип: **благо народа — высший закон**. И я не раз пояснял, что, в переводе на революционный язык, принцип этот может быть выражен еще так:

Высший закон — это успех революции.

Я не помню, чтобы мне приходилось сколько-нибудь подробно обосновывать эту мысль: ее истинность представлялась мне очевидной. Теперь, оказывается, что я довольно сильно ошибался в этом отношении.

С тех пор, как г. Борис Мирский, в одном из недавних своих фельетонов, в «Вечернем Часе», разразился благородным негодованием по тому поводу, что вышеназванная мысль была защищена мною на нашем партийном Съезде 1903 г., некоторые читатели-друзья просят меня подробнее высказаться на тему о неуместности безусловных принципов в нашей политике и тактике. Кроме того, одни из моих противников по тому же поводу упрекают меня, что я проповедаю вредную ересь, — гражд. Виктор Чернов в «Деле Народа», — а другие, находя мою мысль совершенно правильной, ехидствуют на ту тему, что я отказываюсь от нее в настоящее время, когда сторонники Ленина взяли усердно применять ее на практике.

Ввиду всего этого ясно, что мне, действительно, надо высказаться подробнее. Правда, болезнь мешает мне писать. Но обстоятельства требуют, чтобы я сделал над собою маленькое

* В статье сохранена орфография автора.

Более 70 лет статья Г. В. Плеханова «Буки Аз-Ба» не появлялась в печати. Сегодня, как нам кажется, необходимо возродить ее из небытия уже потому, что внимание общественности все чаще концентрируется на исходной точке возникновения Советского государства — на революции.

31 марта 1917 года революционный Петроград торжественно встречал на Финляндском вокзале Георгия Валентиновича Плеханова. После 37 лет эмиграции на Родину вернулся патриарх русских марксистов, один из основателей Российской социал-демократической рабочей партии. Несмотря на возраст — в ноябре ему исполнялся 61 год, — Плеханов хотел принять самое деятельное участие в революционных событиях. Из-за состояния здоровья это ему удалось далеко не в полной мере. После приезда и пока еще были силы он редактировал газету «Единство» (с декабря 1917 г. — «Наше Единство»), выступал в ней активно и сам как автор.

Свою последнюю статью «Буки Аз-Ба» Г. В. Плеханов опубликовал в своей газете в номерах 14 и 16 от 11 и 13 января 1918 г. Больше писать Георгий Валентинович не мог — все больше и больше давал о себе знать застарелый туберкулез. 30 мая наступила смерть, т. е. произошло, как говорил Плеханов, утешая близких незадолго до печального исхода, слияние с природой.

Статья «Буки Аз-Ба» вошла позднее в двухтомник речей и статей Плеханова 1917—1918 гг., изданный под названием «Год на Родине» в Париже в 1921 г. Эти работы, видимо, предполагалось опубликовать в последних томах его Собрания сочинений, вышедшего в Советском Союзе в 1923—1927 гг. Но из 26 заявленных вначале было выпущено только 24 тома.

Причины этого, конечно, ясны. К 1927 году в политико-идеологической жизни страны произошли изменения, которые исключали возможность публикации произведений, содержащих прямую критику большевиков, иные взгляды на Октябрь. Поднимавшийся сталинизм уже не принимал даже марксистскую критику, шедшую по иному руслу социалистической мысли, чем то, которое тогдашние вожди партии считали истинным.

Один из руководителей ВКП(б) тех лет, Н. И. Бухарин, позднее, по словам Б. И. Николаевского (они встречались и вели откровенный разговор в 1936 г. в Париже), говорил, что В. И. Ленин при беседе с ним в конце 1922 года, когда речь зашла о сборнике «Год на Родине», сказал — «Тут много правды». Иных свидетельств оценки выступлений Г. В. Плеханова, содержащихся в этом двухтомнике, Лениным в период пересмотра им взглядов на социализм мы не знаем.

усилие, как говаривала высокопочтенная мисс Домби у Диккенса.

Похоже на то, что читатели-друзья, ждущие моих разъяснений, несколько смущаются опасными выводами, в основу которых может быть положена мысль, высказанная мною на нашем втором Съезде. Но я позволю себе спросить: есть ли такое открытие, которым не злоупотребляли бы люди? По-моему, нет!

Один из самых красивых и наиболее богатых содержанием греческих мифов повествует, как Прометей хитрил огонь с неба и научил челове-

чество его употреблению. Хорошо ли он поступил? Греки находили, что превосходно. И у нас, думается мне, нет никакого основания оспаривать их суждение. А между тем, вспомните, сколько поджогов произошло с тех пор, как могучий титан совершил свой благодетельный для человечества подвиг. сколько несчастных еретиков отправлено было на тот свет с помощью огня, похищенного Прометеем. Почему вы не оплакиваете от-

крытия огня? Да очень просто: вы понимаете, что польза, принесенная этим великим открытием делу человеческого прогресса, бесконечно превышает вред, причиненный употреблением его во зло. Люди, к сожалению, способны злоупотреблять всем. Но из этого отнюдь не следует, что, опасаясь злоупотреблений, человечество должно стоять на одном месте.

И это верно, как в области техники, так и в области теории. Я не знаю такой политической мысли, которая, будучи правильна сама по себе, не могла бы быть использована искусным софистом для подкрепления ложных и вредных выводов. Но разве на этом основании мы станем налагать цензуру на политическую мысль, станем требовать от нее свидетельства о благонадежности? Да избавят нас от этого боги Олимпа! Мы уподобились бы тому осмотрительному субъекту, который, оспаривая атеистов, говорил: «если Бога нет, то какой же я после этого капитан?»

К плодам человеческого мышления приложим только один критерий: критерий истины. Нельзя спрашивать: вредна или нет данная теория? Можно спрашивать только о том, представляет ли она собою истину или заблуждение. Я требую, чтобы с помощью этого критерия судили и о той мысли, которая, быв не раз высказана мною, неожиданно вызвала теперь шум в печати.

Однако, возражат мне мои противники, вы далеко не грешите излишней скромностью. Вы стараетесь поднять свою мысль на один уровень с величайшим открытием человеческого ума; вы готовы приравнять себя к Прометею.

Вовсе нет! Не скрою, что мне в высшей степени лестно было бы иметь право называть своим теоретическим открытием ту мысль, по поводу которой зашумели газетные витии. Но, чтобы хоть на минуту вообразить, будто я могу иметь такое право, мне предварительно нужно было бы, подобно моим противникам, стать круглым невеждой в вопросах этого рода.

Мысль, о которой идет здесь речь, представляет собой один из плодотворнейших результатов движения философской мысли XIX столетия.

Она ведет начало от Гегеля. В своей «маленькой» логике гениальный немецкий идеалист с высоким красноречием изображал непобедимую мощь диалектики, которая все зовет к своему суду и перед которой ничто устоять не может. Она все отжившее осуждает на гибель во имя дальнейшего движения. Таким образом, уже у Гегеля, — поскольку он продолжал держаться своей диалектической точки зрения, — не оставалось ничего безусловного (абсолютного), кроме самого хода диалектического развития, этой бессмертной смерти, или, что одно и то же, вечного возрождения.

Какой общественный политический строй лучше всех других соответствует требованиям человеческой природы? Над решением этого вопроса усердно трудились социалисты-утописты. Для Гегеля этот вопрос не существует. Идеального строя нет и быть не может. Все течет, все изменяется. Превосходный при одних исторических условиях, данный строй оказывается никуда не годным, когда условия эти сменяются другими, на них совсем непохожими. И этот неизбежный политико-социальный вывод из теоретической философии Гегеля явился одной из важнейших составных частей теории научного социализма.

Научный социализм тоже не знает ничего абсолютного, ничего безусловного, кроме беспристрастной смерти или вечного возрождения. Он стройно и последовательно развивает то положение, что все зависит от обстоятельств времени и места. До какой степени это так, покажет следующий пример.

Одному из основателей научного социализма, Ф. Энгельсу, принадлежит замечательная фраза: «Если бы не было древнего рабства, то не было бы и новейшего социализма». Вдумайтесь в эту фразу: она равносильна относительному оправданию рабства, т. е., его оправданию в пределах известной исторической эпохи. Не есть ли это позорная измена требованиям идеала?

Успокойтесь! Здесь нет измены. Здесь есть только отрицание того утопического идеала, который возникает в тумане отвлечения, вне всякой органической связи с определенными условиями времени и места. И в таком отрицании не вина Энгель-

са, а его заслуга. Отвлеченный идеал слишком долго задерживал поступательное движение человеческого ума. Недаром наш В. Г. Белинский оплакивал то время, когда находился под его вредным влиянием.

Заслуживающие доверия путешественники сообщают, что в некоторых местах Африки рабы сверху вниз поглядывают на людей наемного труда. В свою очередь эти последние смотрят на них снизу вверх. Другими словами, в этих местностях Африки общественное положение раба представляется более высоким, нежели положение наемника. А это ручается нам за то, что в ту пору, к какой относится приведенное мной свидетельство путешественников, рабство не задерживало там развития производительных сил, а, напротив, способствовало ему.

Но, если научный социализм даже о рабстве судит с точки зрения обстоятельств времени и места; если он даже рабству готов дать относительное оправдание в той мере, в какой оно ускоряет экономический, а, стало быть, и всякий другой прогресс человечества, то как прикажете относиться ему к тем или другим отдельным правилам политической тактики или вообще политики? Он, разумеется, и о них судит с точки зрения обстоятельств времени и места; он и на них отказывается смотреть как на **безусловные**. Он считает наилучшими те из них, которые вернее других ведут к цели; и он отбрасывает, как негодную ветошь, тактические и политические правила, ставшие нецелесообразными. Нецелесообразность — вот единственный критерий его в вопросах политики и тактики.

— Но ведь это — верх безнравственности! — кричат хором наши противники научного социализма. Признаюсь, я никак не могу понять, — почему? Тут, как и везде, нет ничего безусловного. Когда общественные деятели, судящие о своих политических и тактических приемах с точки зрения целесообразности, задаются целью угнетения народа, тогда и я, разумеется, готов признать их безнравственными; но, когда деятель, усвоивший себе принцип целесообразности, руководится благом народа, как высшим законом, тогда я решительно не вижу, что может быть безнравственного в его стремлении дер-

жаться таких правил, которые скорее других ведут к его благородной цели.

Мне кажется, что ему нужно было бы изменить своему делу или, по меньшей мере, усвоить утопический метод мышления, чтобы предпочесть какие-нибудь другие правила.

Не человек для субботы, а суббота для человека, учил Иисус. И это же повторяют сторонники научного социализма, несмотря на то, что их мирозерцание радикально расходится с мирозерцанием кроткого сына Иосифа и Марии. Скажите, будьте ласковы, где же тут верх безнравственности?

Не человек для субботы, а суббота для человека. Переведите это положение на язык политики, и оно будет гласить: не революция для торжества тех или других тактических правил, а тактические правила для торжества революции. Кто хорошо поймет это положение, кто станет руководствоваться им во всех своих тактических соображениях, тот, — и **только тот** — покажет себя истинным революционером. Его силы могут быть малы; они могут быть очень велики, но и в том, и в другом случае он найдет для них наиболее производительное приращение.

Если же у него не хватит логической отваги, если он побоится до конца усвоить ту мысль, что нет и не может быть безусловных тактических правил, то он, именно в меру своей непоследовательности и как бы в наказание за нее, будет, сам того не желая и не замечая, ставить себе препятствия на пути к своей цели.

Позволительно ли социалисту вступать в буржуазное министерство? — Нет. — Ни при каких обстоятельствах? — Никогда и ни за что на свете.

Так рассуждали многие из моих друзей французских марксистов в эпоху первого принятия Мильераном министерского портфеля.

Я не мог согласиться с этим. Запрошенный редакцией «Моиvements Социалисте», которая делала в социалистическом мире анкету по этому вопросу, я ответил, что не признаю безусловных тактических правил, так как в политике все зависит от обстоятельств времени и места. Мыслимы такие условия, при кото-

рых социалист обязан войти в буржуазное министерство, продолжал я; но при нынешнем состоянии французского рабочего движения поступок Мильерана представляется мне вредным.

— Вы высказались скорее в нашу пользу, заметил мне один из самых видных сторонников Мильерана на Парижском Международном Социалистическом Съезде 1900 г. Я и до сих пор не могу постигнуть, где он выудил такое умозаключение. Но зато я тогда же и очень хорошо понял тех моих французских друзей, которых смутил и даже почти огорчил мой ответ.

Они вообразили, будто, отказываясь признать безусловные тактические правила, я ослаблял их позиции в борьбе с оппортунизмом Мильерана.

Прошли года. Выскочил нынешний всемирный военный пожар. Не желавшая войны Франция оказалась в таком положении, что в интересах не только французского пролетариата, но всего международного движения, ее социалисты должны были вступить в министерство национальной самообороны. Тогда некоторые мои французские друзья, может быть, сказали себе, что я был неправ, когда отвергал безусловные тактические принципы. А другие из них продолжали твердо держаться того убеждения, что, вступая в буржуазное министерство, социалист всегда изменяет себе и своей партии. Следуя этому убеждению, они восстали против своего вождя, Гэда, и, незаметно для себя, перешли на почву анархо-синдикализма. Но анархо-синдикализм есть низшая фаза развития социалистической мысли. Марксист, переходящий на почву анархо-синдикализма, опускается на менее высокий уровень. Приемы его борьбы становятся гораздо менее производительными. А этим неизбежно замедляется достижение им своей конечной цели. Только такой ценой и может быть куплено и покупается торжество догматизма в политике и тактике, т. е., все то же признание безусловных политических и тактических принципов.

Возьмем другой пример. Может ли социалист высказаться за войну? С точки зрения безусловных принци-

пов — не может и не должен. С точки зрения этих принципов социалист имеет право признавать только один род войны: войну на «внутреннем фронте». Так до сих пор думают анархисты и анархо-синдикалисты (немногие исключения только подтверждают здесь общее правило). Наоборот, основатели научного социализма никогда не склонялись к безусловному отрицанию войны. Этот важный вопрос они тоже решали применительно к обстоятельствам места и времени, как решал его и наш Чернышевский. Они понимали, что хотя внешние войны чаще всего задерживают развитие рабочего движения, но бывают такие случаи, когда они ускоряют его. В таких случаях пролетариат поступил бы несообразно со своими классовыми интересами, если бы отказался принять в войне энергичное и сознательное участие. В продолжение своей политической и литературной карьеры Маркс и Энгельс не один раз указывали рабочему классу на его военные задачи.

А вот более частный вопрос. Позволительно ли социалисту голосовать за военные кредиты? Многие социалистические головы до сих пор думают, что социалист, голосующий за военные кредиты, нарушает один из основных принципов своей тактики. У нас до падения старого порядка такого мнения держалось огромное большинство даже тех социалистов, которые были убеждены, что Россия непременно должна обороняться от напавшей на нее Германии, так как немецкая победа очень вредно повлияла бы на дальнейшие успехи русского пролетарского движения. Они говорили: «Надо вести войну».

И тут же прибавляли: «но при этом надо голосовать против военных кредитов». Логика тут мало, а тактическое догматизма хоть отбавляй.

С давних пор догматизм этого рода вызывает в моем воображении образ знаменитого в истории русского раскола протопопа Аввакума.

Человек чрезвычайно сильный и самоотверженный, Аввакум настойчиво звал своих последователей «умирать за азъ», даже не задаваясь вопросом о том, в какой мере нужен «азъ» для достижения целей, поставленных себе христианством. Он сжил-ся с «азом», он сроднился с ним, и ему казалось, что с устранением «аза» рухнет и все православие.

Кто вращался в революционной среде, тот, наверное, встречал в ней множество лиц, подобных Аввакуму, хотя, разумеется, редко обладавших его железной энергией. Они тоже горячо отстаивали тот или другой «аз». И пока наше революционное движение вдохновлялось преимущественно учением Бакунина, до тех пор это было естественно. Представляя собою едва ли не самую главную разновидность утопического социализма времен упадка, бакунизм был очень богат неприкосновенными тактическими «азами».

Русская социал-демократия унаследовала от бакунизма весьма порядочную долю их. В 1906 году большевики, проповедовавшие бойкот Государственной Думы, выдвигали тот довод, что ее члены должны приносить присягу, а принесение присяги означает принятие ими на себя обязанности отстаивать существующий политический и общественный строй. Странники бойкота, рассуждавшие таким образом, не подозревали, что довод, выдвигавшийся ими, был одним из любимых коньков бакунистов в их борьбе против политической программы западной социал-демократии. Западная социал-демократия не могла не сознавать **формальной** правильности анархического довода. Однако она нимало не смущалась им. В данном случае вся она, в полном своем составе, понимала, что формальные соображения должны умолкать всюду, где возышают свой повелительный голос настоящие требования живой жизни.

У нас дело обстояло, как видите, иначе: но это-то и доказывает, что мы более других заражены тактическим догматизмом. Зная это, я не переставал бороться с ним в своих публицистических статьях, при каждом удобном случае напоминая, что главное отличительное свойство нашей тактики должно состоять исключительно в **ее целесообразности**.

Само собою разумеется, что я не позабыл напомнить об этом своим товарищам и на 2-м Съезде нашей партии.

Излагая на втором Съезде нашей партии свою любимую тактическую мысль, я пояснил ее примерами. Когда г. Борис Мирский, — как видно, ничего не понявший в моей аргументации, — привел теперь эти давние примеры в своем фельетоне, они вы-

звали благочестивый ужас в одних и иронические одобрения со стороны других. Враги нынешнего большевизма спрашивали себя: «Неужели Плеханов мог рассуждать так?». Напротив, большевики говорили: «Посмотрите, как рассуждал он, когда был революционером; теперь он перешел на сторону контрреволюции и рассуждает, разумеется, совсем иначе». Но в том-то и дело, что я рассуждаю теперь все так же, как рассуждал прежде. Но меня очень плохо понимают как те, которых мой взгляд приводит в ужас, так и те, которые иронически одобряют его.

В одном из примеров, приведенных мною на Съезде 1903 года, говорилось об Учредительном Собрании. Это и сделало мой пример «актуальным» для наших дней. Те, которых он испугал, поняли его так, что я способен был оправдать разгон собиравшегося у нас Учредительного Собрания.

Те же, которые злорадно одобряли его, упрекали меня в измене, чувствуя, что я никак не могу одобрить такой разгон.

Но для меня и в отношении к Учредительному Собранию нет ничего безусловного. Тут тоже все зависит от обстоятельств времени и места.

Приводя один из своих примеров, я сказал: теоретически мыслим такой случай, когда и т. д. Но теоретически мыслимый случай не есть такой случай, который имеет место везде и всегда. Теоретическая **возможность** вовсе не есть **действительность**, к которой мы стремимся при данных условиях.

Учредительные Собрания имеют разный характер. Если бы парижский пролетариат, быстро оправившись от жестокого поражения, нанесенного ему Кавеньяком, к великой радости французского Учредительного Собрания 1848—49 гг., положил насильственный конец деятельности этого органа реакции, то я не знаю, кто из нас решился бы осудить такое действие. Французское Учред. Собр. названных годов было враждебно пролетариату. А то Собрание, которое разогнали на этих днях «народные комиссары», обени ногами стояло на почве интересов трудящегося населения России. Разгоняя его,

«народные комиссары» боролись не с врагами рабочих, а с врагами диктатуры Смольного института.

Это — «две большие разницы». Кто этого не понимает, тот вообще не способен разбираться в вопросах рабочей тактики.

Очень наивно думать, будто влияние речи, произнесенной мною на нашем Съезде 1903 г., побудило большевиков запереть двери Таврического дворца после первого же заседания собравшихся в нем депутатов. Моя речь несколько не мешала им горячо проповедовать идею Учредительного Собрания в 1905—1907 гг. Когда после роспуска первой Госуд. Думы, я предложил нашей партии формулу: «полновластная Дума», в качестве избирательной платформы, они обвинили меня в измене (они всегда делают это «с легким духом»¹).

Разгон нашего Учред. Собрания подсказан был им вовсе не внутренней логикой тактики, освобожденной от безусловных принципов. Он подсказан был им внутренней логикой политического действия, совершенного ими в конце октября.

Захватывая власть в свои руки, они, конечно, не собирались отказываться от нее в том случае, если большинство Учред. Собрания будет состоять не из их сторонников. Когда они увидели, что большинство это состоит из социалистов-революцио-

неров, они решили: необходимо, как можно скорее, покончить с Учредительным Собранием. И со свойственной им энергией они осуществили свое решение.

Это было, как я сказал, вполне сообразно с логикой действия, совершенного в конце октября. Но разгон Учред. Собр. тоже имеет свой ясный логический смысл. Он является новым и огромным шагом в области гибельного междоусобия в среде трудящегося населения России.

Защитники этого шага возражат мне: «Сила на нашей стороне». Я готов согласиться с ними, что на их стороне, действительно, находится вооруженная сила. Но ведь давно уже сказано, что сидеть на штыках не очень удобно.

Кромвелю заметили однажды: «За вас только одна десятая часть нации». — «Не беда, — ответил он, — эта десятая часть вооружена и будет господствовать над девятью десятками». История не оправдала этой уверенности Кромвеля, а ведь он не задавался целью организовать социалистический способ производства. Его стремления все больше и больше суживались, становясь чисто династическими.

Совсем недавно Каутский напомнил в «Leipziger Volkszeitung», что диктатура, необходимая для основания социалистического общества, должна быть диктатурой большинства. За Смольным большинства нет, и это должно было бы заставить задуматься его деятелей.

Их диктатура представляет собой не диктатуру трудящегося населения, а диктатуру одной части его, диктатуру группы. И именно потому им приходится все более и более учащать употребление террористических средств.

Употребление этих средств есть признак шаткости положения, а вовсе не признак силы. И уж во всяком случае ни социализм, вообще, ни марксизм, в частности, тут совершенно ни при чем.

Тактика Смольного есть тактика Бакунина, а во многих случаях просто-напросто тактика Нечаева.

Курьезное совпадение. По свидетельству Н. П. Драгоманова, — который сам пережил эпоху нечаевщины, — Нечаев распространял среди учащейся молодежи весть, что в Западной Европе 2.000.000 интернационалистов готовы восстать и под-

¹ На нашем Лондонском Съезде 1907 г. один молодой делегат с Урала с ласковой укоризной говорил мне: «Ах, т. Плеханов, как огорчены мы были тем, что вы отказались от идеи Учредительного Собрания».

— «Это было совершенно напрасное огорчение, — возразил я, — так как мне никогда в голову не приходило отказываться от этой идеи».

— «Да ведь вы же высказались за полновластную Думу». — На это я ответил вопросом: «Скажите, как представляет себе рабочее население вашего Уральского завода Учредительное Собрание?» Мой молодой собеседник, колеблясь, отвечал: «Оно представляет себе его в виде Думы, которая сможет делать все, что захочет» (**бунвально так.** — Г. П.). — «Да ведь это же есть полновластная дума».

— «Ах, вот, что вы понимаете под ней». Мой молодой товарищ удалился, изобразив крайнюю степень удивления. Он принадлежал к тем, которые готовы были «умирать за «аз» и не способны были идти дальше «аза».

Таких насчитывалось много. Но роль «аза» играли в данном случае слова: «**Учредительное Собрание**».

Ясно, что речь, произнесенная мной на Съезде 1903 г., отнюдь не лишила большевиков готовности отстаивать названное собрание. — Г. П.

держат социальную революцию в России¹.

Читателю известно, что теперь у нас распространяется в рабочей среде столь же мало основательная весть о готовности западноевропейского пролетариата поддержать русскую социальную революцию. Это все та же метода, только применяемая в гораздо более широких размерах. Я вовсе не хочу сказать, что метода эта всегда применяется в целях сознательного обмана.

Далеко нет. Я думаю, что самообмана тут гораздо больше. И к нему склонялись не только большевики. Ребячески преувеличенные надежды на Запад питал сам И. Г. Церетели, этот, — довольно, впрочем, тусклый, — Свет Азии. И не Чхеидзе ли принадлежит замечательная своей неумностью фраза: «С немцами мы переговорим!».

Гражд. В. Чернов утверждает в «Деле Народа», что большевики — мои дети.

Это напоминало мне, как Виктор Адлер говаривал мне полусуто, полусерьезно: «Ленин — ваш сын». Я отвечал ему на это: «Если сын, то очевидно, незаконный». Я до сих пор думаю, что тактика большевиков

представляет собою совершенно незаконный вывод из тех тактических положений, которые проповедовал я, опираясь на теорию Маркса — Энгельса.

Покойный Михайловский как-то заметил, что нельзя считать Дарвина, писавшего о борьбе за существование, ответственным за поступки «дарвиненка», который во имя теории великого английского натуралиста выскакивает на улицу и хватает прохожих за шиворот. Как думает гражд. Чернов, справедливо ли это замечание Михайловского? По-моему — да. А раз оно справедливо, то, — если позволите сравнить малое с большим, — нельзя и меня, как теоретика русского марксизма, делать ответственным за всякое нелепое или преступное действие всякого русского «марксенка» или всякой группы «марксят».

Откровенно говоря, я думаю, что мы будем гораздо ближе к истине, признав нынешних наших большевиков не моими детьми, а двоюродными братьями гражданина Чернова.

Недаром же его орган громко жаловался, несколько недель тому назад, на то, что большевики сделали важное похищение из сокровищницы черновской премудрости (преимущественно по аграрной части).

¹ См. Исторический Сборник. СПб. 1917, стр. 217. Г. П.

Владимир Егоров

О ПРИНЦИПАХ ТЕОРИИ И ЛОГИКЕ РЕВОЛЮЦИИ

Итак, перед нами принципы жизни, принципы действия, которые пытались совместить в себе, в теории и в борьбе Г. В. Плеханов. Принципы, трактуя которые он последний раз полемизировал с Лениным.

Возьмем в качестве ключа к разговору краеугольные вопросы, определявшие позицию Плеханова на самом крутом переломе отечественной истории начала XX века.

Сначала об отноше-

нии к империалистической войне.

Плеханов был свидетелем двух войн, в которых участвовала Россия. Позицию своей страны в русско-японской войне, начатую Россией, он безоговорочно осуждал. Россию в первой мировой войне он поддержал. Несмотря на предшествующие высказывания, Плеханов не встал на позицию поражения своего правительства, перерастания войны империалистической в войну гражданскую.

Убеденный интернационалист, борец против шовинизма (он неоднократно доказывал это в

статьях в «Единстве»), Плеханов в политической борьбе внутри международного и русского рабочего движения оказался, по определениям того времени, в том числе большевиков, «социал-патриотом», «социал-шовинистом». Почему?

Если кратко и в силу этого схематично, то его платформа базировалась на следующих подходах: Германия по отношению к России — агрессор; немецкие социал-демократы поддержали в войне